

ТАТЬЯНА ГРИБАНОВА



## ОТ РОЖДЕСТВА ДО ПОКРОВА

РАССКАЗ

Под Рождество каждая половица нашего старенького домишки, каждая занавеска на окошке, где меж рам дозревают подмёрзшие рябиновые гроздья, каждая крошечная, но уютная, словно бабушкина душегрейка, комната напитываются смолистым сосновым духом.

Отец загодя, с утра, становится на широкие охотничьи лыжи, затыкает топор за солдатский ремень, подпоясывая собачий тулуп. Подламывая корочку хрусткого наста, идёт через игинское поле в Хильмечки — ближайшую рощу. К обеду притаскивает на липовых салазках, справленных для хозяйских дел, сосну. Размашистую, под потолок. Приносит из амбара заготовленное ещё по осени на Жёлтом ведро песка. Сосёнку устанавливаем в горнице на самом видном месте.

Ледышки и снег обтаивают, хвоя разомлевет в тепле и источает такой аромат, что замороженный происходящим кот Патефон выгибает спину и замирает на пороге. Принохивается, а потом — боком, боком пробирается знакомиться с новой пушистой жиличкой.

Отец спускается в погреб и возвращается с ящичком синапа. Это особые яблоки, отборные, рождественские. Завернуты в бумагу, пересыпаны ржаной соломой. Дождались своего часу.

К палочке привязываю прочным, хитрым узлом нитку и украшаю жёлтыми, с румяными бочками, синапками сосну. Шишки оборачиваю припасённой за год шоколадочной фольгой.

---

*ГРИБАНОВА Татьяна Ивановна родилась в деревне Игино на Орловщине. Окончила факультет иностранных языков Орловского государственного педагогического института. Работала преподавателем иностранного языка в сельской школе и в Орле. Автор двух поэтических книг "Апрель" и "Прощённый день". Член Союза писателей России. Живёт в Орле.*

Пахнет клеем, гуашью. Маленький братишка перепачкан красками с головы до пят. Колечки гирлянд, сугробы ваты, ливень серебристого дождика, стай замысловатых легкокрылых снежинок...

— Принимайте с пылу, с жару, — мама вносит большущее блюдо. Золотистая гора печенья: зверюшки, звёздочки, ёлки, сказочные герои — свойские игрушки из нашей печки. Духовитая сдоба не даёт покоя коту, устроившемуся под сосной на куче ваты. Он подбирается и уносит-таки пухленькую белочку.

— Пока не затвердели, продавай цыганской иголкой тесёмочки, — командует мама.

Развешиваю украшенные помадкой-глазурью печенюшки на колючих лапах.

Ароматы сосны, синапа, ванили кружат голову. К ним примешивается запах плавящегося воска. Потрескивают свечи, пощёлкивают на кухне берёзовые полешки. Скрипят под окнами валенки, распахиваются промёрзшие сенные двери. С каляным морозным духом вваливаются ряженые. Шутят-дурачатся, распевают старые-престарые песни. Рассыпают по хате овёс, приговаривают: “Роди, Боже, жить, пшеницу, всяку пашницу”.

Братишка прячется за мамин подол, боится размалёванной, с пеньковой бородой, “kozy”. Из-под её вывернутого наизнанку овчинного тулупа выглядывают стёганные в ёлочку приметные бурки деда Зуба. “Коза” склоняется к маленькому Андрюше, запускает руку в карман и вынимает горсть ирисок.

— Коза-дереза! — пыхтит мальчишка, но от конфет не отказывается.

— Угощайтесь, гости дорогие! — мама выставляет приготовленные вкусности.

Ряженые сыпают сласти-угощенья в огромный мешок и, поблагодарив хозяев, пожелав им светлого Рождества, выкатываются в сенцы. А мы подбираем рассыпанное зерно и храним его до весны.

Укладываюсь в горнице у разряженной сосны, чтобы не проспять праздник. В окно глядится яркая-преяркая рождественская звезда, и я улплываю навстречу ей по густым смолистым волнам.

\* \* \*

Что означает фраза “ломать косарецкого”, для меня и в детстве было тайной, и до сих пор остаётся непонятным. На Крещение зять в нашей деревне едет к тёще ломать этого самого косарецкого.

За несколько дней до праздника в кухне ко вбитому в потолок кольцу подвешивают гуся. На пол расстилают холстину, и мама с бабушкой щиплют птицу. Пух ложится на табуретки, на стол, на загетку и сундук. Ресницы, брови и волосы женщин становятся белыми-белыми. По дому, будто в форточку намело, порхают пушинки.

Железным крюком надёргивает дедушка в стогу за амбаром вязанку соломы и, когда тушку выносят на двор, разводит костёр. На большие вилы укладывает оципанного гуся и палит на огне. Пахнет горелым пером, пушинки на гусе тают, словно снег, а дедушка знай поворачивает птицу то одним, то другим боком. Пламя слизывает пух и перья, гусь лоснится от вытопленного жира. Бабушка забирает его на кухню, добела натирает отрубями, гремит чугунками. А дедушка старается над очередным гуськом.

Спустя пару часов сквозь приоткрытую дверь на улицу выползает такой дух, что у меня текут слюнки, словно у соседского кутёнка Мухтара. Я бросаю салазки и спешу в хату.

— Проголодалась, поди, на морозе? — торопится подкормить бабушка. — Бульонцу гусяного съешь-ка, голубка, — мясу-то ещё томиться и томиться.

Только к вечеру поспеваает долгожданный холодец. Мама помогает бабушке его разбирать, а я кручусь рядом: то лапку погрызть дадут, то кусочек печёночки обломится. Пока женщины стряпают, я уж и сыта.

Может, зять приезжает к тётце на Крещение не косарецкого ломать, а просто духовитый холодец есть? — размышляю я, укладываясь на печке с обьевшимися Патефоном.

Наступает крещенское утро. Дедушка ещё вчера, пробравшись сквозь прибрежные лозняки на Кромю, вырубил во льду иордань — двухметровый крест. Церковь на Поповке давным-давно взорвали, водички святой взять неоткуда. В Крещенский Сочельник берёт бабушка воду из Иордани и кропит ею скот, хлев, дом и двор. А на само Крещение мы отправляемся умываться на реку. Набираем водицы у ключей на весь год. Когда бы ни пробовала я крещенскую воду, хоть в июльскую жару, кажется мне, пахнет она январскими сугробами да метелями. Ледяная, аж дух захватывает.

\* \* \*

Сколько себя помню — под Сретенье всегда метёт, куролесит, будто старается зима на прощанье такого наворотить, чтоб запомнили её надолго. В такой вьюжный день я и родилась. Предпраздничная, значит.

На Сретенье — успокаивается, любо-дорого поглядеть за окно — тишь да благодать. Солнце лупастит, на весну перелом. Середина февраля, а весна рядом бродит.

В хату со двора, чтоб не подмёрзли, приносят новорожденных козлят. От них пахнет парным. Кухня пропитывается козым духом.

Просыпаюсь поутру и чувствую: бабушка стряпает на завтрак омлет из молозива — первого коровьего молока. Значит, дождалась она-таки, ночью отелилась Зорька. Бегу в хлев. Уже обсохший, чёрненький с белой звёздочкой во весь крутой лоб, бычок мукает навстречу, взбрыкивает и прячется за опавшие мамкины бока. В честь ли моего дня рождения, по случаю ли появления на свет Зорькиного Маврика, в кормушке настоящее лакомство — июньское сенцо с разнотравья.

— Не сено, а чай. Хоть в самоваре заваривай, — улыбается дедушка, зашедший взглянуть на телёночка.

Копаясь в хоботной плетушке. Собираю праздничный букет — сухие кукушкины слёзки, иван-чай, лисохвост, клубника луговая (даже с ягодками!), чуть поблёкшие васильки и целая охапка ромашек. Закрываю глаза, принимаюсь: букет дышит летом, Ярочкиным логом, сенокосом.

Днём на припёке возпревает навоз. Из-под сарая, от гречишной соломы тянет мёдом. Или кажется? Может, просто хочется тепла, и я тороплюсь почувствовать ещё неощутимые запахи?

Порывом ветра доносит от сирени, что за верандой, тонкую-тонкую горечь побуревших почек. Чудится еле уловимый терпкий аромат пробуждающихся вешних соков.

На улицу из кухонной форточки вслед растолстевшему за зиму Патефону вышмыгивает запах поспевших тыквенных пирогов-гарбузят. Мама манит из окна перепачканной в муке рукой.

— Помоги-ка стол накрыть, да за Андрюшей под горку сбегай. Укатался, наверно, валенки не стащишь.

Пьём чай. Наш фирменный: липа, мята, зверобой да щепоть земляничного цвета. Вспоминаем, улетаая пироги, как растили для них духовитые медовые тыквы. Вымахали громадные. В сентябре отец с трудом погрузил на телегу да перевёз дозреть под сарай.

\* \* \*

За неделю до Великого поста днями напролёт рычит маслобойка, разливается по кринкам, густеет сметана. Топится масло. В дуршлаг откидывается творог, выкатывается снежными шарами из марли на кухонный стол. Отец собственноручно, никому не доверяя, варит сыр: долго бьёт масло, творог и яйца в ведерной круглой макитре, следуя каким-то замысловатым прадедовским рецептам.

Сырная неделя — широкая Масленица. Кот лоснится от постоянного облизывания вкусюющих остатков, на столе не переводятся рыба, масло, молоко, яйца и сыр.

Накануне, вечером, с появлением первых звёзд, бабушка идёт к колодцу и потихоньку, чтобы никто не слышал, просит месяц заглянуть в кухонное окошко, осветить опару да подуть на неё. Бабушка ставит опару на чистейшем снегу, собранном на дальних огородах, пришептывает: “Месяц ты, месяц, золотые твои рожки, загляни в окошко, подуй на опару”.

Дрожжевой дух бродит по дому, пьянит и дурманит.

— Отнеси-ка, Таня, блинчик на поветь, да гляди, чтоб Патефон не стащил, — подаёт мне бабушка первый блин, — на помин усопших.

Несу горячий с пылу с жару блинок на улицу и слышу бабушкину присказку:

— Честные родители наши, вот для вашей душки блинок.

Бабуля напекает целую стопу тонюсеньких дырчатых блинов. Поедаем одним махом.

— Блин не клин, живота не расколет, — подшучивает дедушка.

На другой день к печке заступает мама. Она жарит маленькие пышные оладушки. К ним подаёт береженное к Маслене любимое лакомство — земляничное варенье. Кубаны с томлёным молоком опорожняются быстро под мамины олады.

Отец запрягает Воронка, и мы отправляемся под Гнездилово на кулачки. Отведав кучу блинов, поднакопив силушки, местные мужички пытаются её в кулачных боях, ходят стенка на стенку, деревня на деревню.

Вечером — катанье с горок на санках, костры, и опять — блины, блины. С рыбой, с мёдом, с сыром, с творогом... Гречневые и пшеничные, кукурузные и овсяные, на любой вкус. И каждый день непременно другие.

Заканчивается Масленица. Патефон подбирает недоеденные блины. Мама обходит дом, вымывает подоконники и половицы уксуной водой — выгоняет масляный дух. Пахнет кислым. Начинается Великий пост.

\* \* \*

Сходят снега, после первого тёплого дождичка проклёвывается робкая зелень. Мимо тополя не пройдёшь: дышишь, не надышишься пахучей клейковинной, не насмотришься, глаз радуют крошечные листики.

Из корзинки высаживаю на лужок желтопузиков — гусятюк. Тёплый, махонький комочек, солнечный, словно одуванчик. Подношу к щеке — и пахнет одуванчиком.

По лозьякам ползут длинные мохнатые гусеницы, кишмя кишат. Присматриваюсь: да это цветы. Ива цветёт. А запах!.. Вжикают, облётываются первые пчёлы. Наголодались за зиму, будоражат их весенние ароматы.

Припекает. Мама выкатывает из чулана квасную кадку. Заправляет первый квас — с мятой, с изюмом.

Во время Великого поста начинается работа на земле. Чтобы поддержать семью, придумывает мама постные вкусоности-разности.

А что тут мудрить? Рыжики, например, и в праздник, и в будень — одно объеденье. Мама жарит картошку на конопляном масле (запах к соседям за забор идёт), рыжики посыпает мелконарубленным чесноком. За уши не оттянешь!

Как уж умудряется она капусту засаливать — до самой Пасхи хрустящая. Ешь и ещё хочется.

Особая гордость отца — мочёная антоновка. Разломишь яблочко — белое, сахарное, духовитое.

А на Благовещенье, когда “и птица гнезда не вьёт, и девица косы не плетёт”, приносит дедушка с прудка, что у старой мельницы, десяток-другой краснопёрок. В саду, на собственноручно слаженной печурке коптит их на яблоневых веточках.

Обрезая сад, собирает поленницу, даже хмызник от яблонь и вишен не выбрасывает, складывает под сарай. Что на копченье пригодится, что в печи в холода сгорит, напитает хату ароматным садовым духом.

— На Благовещенье работать не след, — считает бабушка, — кукушка завет нарушила, вот и скитается теперь без родного гнезда, Господь наказал. Детей по чужим гнёздам раскидывает.

Сидеть сложа руки весь большой весенний день он не выдерживает, по-этому и приловчился на рыбалку ходить.

Бабушка на Благовещенье пережигает соль в печи, добавляет в тесто, печёт большие хлеба — “бляшки”, угощает ими скотину от всевозможных хворей. Ставит образок в закрое с яровым зерном, приговаривает:

*Мать Божья!  
Гавриил-архангел!  
Благословите,  
Благословите,  
Нас урожаем благословите:  
Овсом да рожью,  
Ячменём, пшеницей  
И всякого жита сторицей!*

На восходе выносит отец клетку с синицами во двор, даёт нам с братом по птице, чтобы выпустили на волю.

День-деньской подкарауливает кот диких горлинок, слетающихся покормиться к куриной кормушке. От Патефона пахнет свежей рыбой, на морде сверкают серебристые чешуйки.

Вдоль стёжки, от клёна до ворот, натянута верёвка. Полощется свежестыранное бельё. Вчера затеяла мама большую стирку, весь день колотила вальком на омуте. От подсохших занавесок и покрывал тянет свежестью, речкой. А клеверный стог в углу двора задышал, подсыхая после первого дождика, парной мякиной.

\* \* \*

В Чистый четверг с утра бабушка готовит кринки и махотки. В печи томится молоко, откидывается творог, собираются в узелочки яйца. Под Светлое воскресенье идём с ней к одиноким и хворым, несём угощения к празднику. Бабушка разливает по пузырьчкам какое-то благовонное снадобье, которое накануне варила под шёпот молитв. Может быть, в нём и не хватает всех компонентов, но она уверенно называет его “миро” и одаривает в Великий четверг односельчан. А ещё — пережигает спозаранку в печи соль с квасною гущей.

— Осквернил её Иуда-предатель, надобно очистить, — растолковывает бабуля.

Хранит в коробочке на божничке и лечит ею от всевозможных болезней. Запах и свойства этой соли особые, и называется она Великочетверговая.

Хата к этому дню пахнет чистотой. Вымыты окна и полы, развешены праздничные занавески, из сундука вынута пасхальная скатерть: по домотканому льняному полю вышиты мелкие крестики, а по уголкам — ХВ. Она дышит прошлогодней пасхой и свечами.

В кухне стоит крутой луковый дух — мама красит настоем из шелухи десятков пять яиц. Несколько, смочив, обваливает в пшёнке, помещает в тугой марлевый мешочек. Весёлые яйца “в крапку” раздарит в Велик день маленьким крестникам.

Отец топит баню. Вечером смываем грехи, паримся берёзовым веничком, на голышки плещем мятным квасом.

— Теперь можно и Велик день встречать, — замечает бабушка, расчёсывая сполоснутые травяным взваром волосы.

В правом ящике резного буфета и сейчас могу наощупь сыскать холщовый мешочек. В нём испокон веку хранится деревянная пасочница. Потемневшая от времени, с небольшой выщерблинкой по верхнему краю. На боках резные витиеватые буквы. Как только бабуля к ней прикасается, начинается священнодействие. Это случается раз в году — в пятницу перед самым большим праздником.

Накануне бабушка не ложится спать. Стоит в красном углу и читает. С первыми петухами, обрядившись в свежий передник, убирает штапельным платочком волосы.

Выскоблив ещё на неделе стол, в большой с мелкими розанами таз выкладывает из-под трёхсуточного гнёта тугие плюшки белоснежного творога. Кисловатый запах его смешивается с запахом ванили, размоченного изюма. Липовой с прорезью ложечкой выкладывает она в тесто дышащий донником мёд. Совсем чуть-чуть, “коли переборщить — потечёт пасха, не собрать”. Долго размешивает-соединяет. Наконец, вкусящей массой заполняет пасочницу, поверх выкладывает изюмом православный крестик, освящает. А чтобы пасха укрепилась, затвердела, выносит до вечера на холод, в подвал.

И только теперь растапливает печь. Наступает черёд куличам. Из эмалированного ведра выпирает пушистой шапкой тесто. Бабуля обминает его ещё разок, добавляет изюмцу, маслица, яичек, сахарку и чего-то такого, от чего у меня на печке сосёт под ложечкой, и я вскакиваю ни свет ни заря стащить горсточку ненашенских сластей, облизать ложки-миски из-под взбитых белков, поковырять ложечкой в махотке с зернистым засахаренным мёдом.

Часа через два бабуля вынимает куличи из протопленной по особому случаю вишневым хвостом печи. Поверх румяной сдобы толстым жгутом выпирает крест и маленькие букочки ХВ и ВВ. Белки молочными реками стекают по бокам, искрятся на весёлом апрельском солнышке, заглядывающем в оконце справиться, готова ли хозяйка ко встрече Пасхи.

Бабушка кропит куличики святой водицей, что хранится у неё для особых случаев за образом Анны Кашиной. В сенцах приготовлен стол. Выносим куличи, прикрываем полотенцем — доходить.

Бегаю мимо, принохиваюсь. И опять кажется мне, нынче куличи лучше прежних: и душистее, и пышнее, и краше.

Пасох и куличиков хватает на всю Святую неделю. До самой Красной горки стоит в хате и во дворе дух Светлого праздника.

С первыми летними радостями — Троицей и Духовым днём связаны самые яркие, самые душистые воспоминания.

Природа утопает в цвету. Зелень ещё молода и свежа. С утра бабушка связывает в пучок четыре травки: зорю, калужер, мяту и кадило. В середину ставит большую “троицкую” свечу и поджигает её свечкой, привезённой для неё кем-то от Гроба Господня.

Травы, соприкасаясь с огнём, источают благовония. Бабуля заканчивает молиться, убирает обожжённые стебельки в резной ларчик и хранит для лечения разных болезней. Свеча же прячется в дальний угол (разыскивается лишь для того, чтобы дать в руки умирающему).

Хата разряжена спозаранку, что девка на выданье. Пахнет цветочным сенцом: отец окосил Мишкин бугор. Притащил хоботную охотку лютиков, колокольчиков да кашки. Полы устланы цветами. Стол накрыт весёлой скатертью, расшитой синеглазыми васильками, пшеничными колосками да молочными ромашками. Красиво и радостно.

Повсюду берёзовые косицы. В сенцах тоже благоухают травы. Тут и мимоза нашенских оврагов — прогорклая полынь, и лесная затворница — душица, и дикая мята-мелисса, и терпкий любимец ребятни — анис.

А за окнами — липы в цвету. Тихий летний вечер. Ещё сильнее раздушаются в палисаде махровые жасмины. Кремовые пионы приманивают своим колдовским ароматом десятки изумрудных светлячков, охочих до их вкусного клейкого лакомства.

Чуден и прекрасен твой мир, Господи! Век бы сидеть на лавочке у крылечка, слушать перешёлк неумолчного соловья, дышать не надышаться дедовой махровой черёмухой, купаться в ароматах резеды и притулившихся в тенёчке под кряжистой дулькой заблудших когда-то из Ярочкина леска белоснежных ландышей, сдвиг к противоположному краю пушистую пену, пить прямо из ведёрка пахнущее Зорькой парное...

\* \* \*

Природа, предчувствуя неминуемые холода, в середине июня торопится жить в полную силу. В ночь на Ивана Купала поспевают большинство целебных трав.

Бабуля ходит по вечерней заре и, различая в сумерках лишь по ароматам нужные травки, собирает их целую плетушку. Поутру связывает пучками и развешивает в полумраке на амбарном чердаке, “на вольном духу”. Тут же подсыхают пахучие связки белых да подберёзовиков, проветриваются какие-то душистые коренья.

Из молодых сосновых шишек варим на сурепочном меду сладкое варенье. Скольких на деревне поднимает бабуля своими микстурами от простуд! Пахнет смолой. Забористый сосновый дух пробирается во все уголки нашей кухоньки, ползёт за ворота.

В теньке под сиренью усаживаемся перебирать луговую землянику. Ягоды переспели, аж вишнёвые. Нюхаю выкрашенные земляничкой ладони. Что за дух! Пахнет лесом, землёй, летом, солнцем, июньскими грозами, чем-то очень любимым, знакомым с раннего детства.

А бабуля тем временем толкует о том, что солнце в этот день выезжает из своих чертогов на трёх конях: серебряном, золотом и бриллиантовом. Пляшет “Русскую”, рассыпает в небесах огненные звёзды и едет к супругу месяцу.

Видать, она взаправду во всё это верит, если вечером на Ивана Купала, запалив во дворе костёр, сжигает на нём дедушкину рубашку, в которой лежал он хворый прошлую зиму, “чтоб болезнь не возвратилась”. Потом идёт в дом, молится у иконки Иоанна Крестителя, чтобы зло в эту ночь не смогло причинить вреда нашей деревне.

\* \* \*

Не менее богатый на ароматы август. На него приходится три Спаса.

Самый первый — “Спас на воде”, “медовым” называют. Отец говорит, что с этого дня пчёлы перестают носить взятки с цветов.

Последний раз качаем мёд. С разнотравья: с донника, с душицы, с переспевших летних цветов. В беседке, где жужжит медогонка, воздух пропитан густым медовым духом. От отца пахнет дымом и вошиной. От переполненных баков тянет лугом.

Девятнадцатого августа — “Спас на горе” — Преображение Господне или Яблочный Спас.

Под сучья в саду ставим подпорки. Яровые яблоньки и груши гнутся от созревших плодов. Вороха медовки и белого налива. Пипин-шафран просвечивается насквозь, видны карие семечки. Тряхнёшь яблоком у уха — семечки звенят, понюхаешь — и есть жалко. Яблоки падают, бьются в крошево. Прогорелые осы зундящим скопом наваливаются на переспевшие плоды, выгрызают мясистые дошесы и дули, оставляя в них глубокие дырочки.

Третий Спас — “полотняный” — следует за днём Успенья, в самом конце августа.

Из раннего детства припоминается в углу горницы огромный стан. Бабушка ткала половики, покрывала и тонкие скатёрные-полотенечные ткани. До сих пор стелются на печку её домотканые постилки, ещё в ходу замашные рушники.

В нашей местности третий Спас называют ещё “ореховым”. В эту пору подходит в Горонях и в Плоцком лещина. Весь неработный люд пускается за орехами. Расстилают вокруг куста холстинку и трясут ветки, обивают орехи. Набрав пудовичок, усаживаются на опушке. Чистят-лущат, откидывают “молоньёвые”. Домой принесут, на печь, на камешки сушить-жарить под постилки рассыпят. В сказке принцесса спать на горошине не могла, а у нас ребятня на орехах год напролёт дрыхнет и хоть бы что. Подсыхают орешки — по хатам щёлк идёт. И пахнет лесом, лещинкой.

\* \* \*

А уж в пору Бабьего лета дня не пройдёт, чтобы мы с отцом в лесу не отметились. Руки от грибов чёрные, месяц не отмываются. Опята, маслята, рыжики! Для каждого гриба свой черёд. У каждого свой аромат.

Входишь по утру в Хильмечки и чувствуешь: воздух распирает от терпкого хвойного духа, замешанного на густом грибном запахе. Среди рыжей палой хвой россыпь крупнящих тёмно-коричневых бусин-маслят. Тут же, только наклонись, подними лапник — яркие блюдца молочных рыжиков. По берёзовым да по дубовым пням гранки тонконогих веснушчатых опёнок.

Потянет опавшим листом, спелым грибом. Задышат овраги прелью, дохнет с огородов костром, печёной картошкой. А там, глядишь: засеменит дробный ситничек, разоплывятся дороги, а вскорости и морозец почуешь.

\* \* \*

Пора справлять Покров, Зазимки по-нашему.

На дворе клучи поваленных берёз. Отец и дедушка возят их на Буянке из лесу. Пилят на раскатайки-кругляши. В доме слышны тугие удары колуна, звонкие щелчки лёгонького топорика. Под сараем под самую крышу вырастает белоснежная поленница. Двор затапливает берёзовый аромат. Над трубой поплясывает лёгонький дымок — мама стряпает пироги к празднику. С чем только не придумает! Но вкуснее всех — с капустой. Вчера занесли её с улицы. Дозревала на дворе. Пощипали морозцы, забелела, подоспела. Целый день рубил её отец в деревянном корыте. Всем хватило работы: тёрли морковку, резали яблоки, грызли сахарные кочерыжки. В середину бочонка целиком уложили дробные кочанчики. Посыпали душистым тмином. От бочонка ещё не пахнет, как зимой, кислым, а капустно-морковно-яблочный сок, в котором утонул гнёт-голышек, кажется самым вкусным напитком на свете.

В другой кадучке, перестлав ржаной соломой, залив ключевой водой, замачиваем антоновку. Целый месяц стояли под моей кроватью ящики с яблоками. Проснусь ночью — как пахнет! — не удержусь, опущу руку, нащупаю самое лучшее и схрумкаю.

Бабушка входит в кухню, придерживает передник, наполненный полосатым штрифелем. Надкусываю яблочко — хрусткий запах поздней осени. Штрифелина гладкая, блестящая, внутри — розовая-перерозовая.

Бабушка усаживается перед окном передохнуть, размышляет.

— Журавлей не слышать, спровадились до Покрова. Знать, зима ляжет ранняя да студёная...

А мама накрывает на стол. Покров — последний большой праздник в году. Сытный, вкусный. По первому снежку закололи кабанчика — тушится печёнка, пошипывают зажаристые шкварки. Грузди, источая ароматы укропа, зарылись в листья смородины и хрена, разлеглись на блюде, словно недельные поросята. А рядом — лупастые пельмени. Мама любит пощутить над



домашними и в один из них вместо мяса заворачивает какой-нибудь сюрприз: школьный ластик или кусочек морковки. И я с нетерпением ожидаю, кому же на этот раз посчастливится. На вид все пельмешки одинаковы: перепачканы чуть кислотоватой сметаной, пахнут молотым перчиком, посыпаны какими-то бабушкиными духовитыми травками. Из чулана дедушка приносит бутылочку калиновки. С прошлого года. Нынешняя ещё не готовилась.

Ляжет потвѣрже наст, ударят покрепче морозы — поедем в Плоцкий за ягодой-калиной. На Святках настряпаем с нею пирогов-ватрушек, наварим душистого варенья, наготовим вкуснощего квасу-морсу. Как же без калины? Без неё, без терпкого её вкуса-запаха и год не завершится.

Повяжем пучками, подвесим за наличник снегирей приманивать. И станем дожидаться Рождества: смолистой сосны, душистого маминоного печенья, аромата переспелых синапок.

## ОДОЛЕНЬ-ТРАВА

### РАССКАЗ

Весь июнь полоскали дожди. Трава вымахала в человеческий рост. Стѣжка к роднику поросла анисом. Белые шляпки его укрыли днище оврага, словно снегом завалили-заметелили крутые скаты Мишкина бугра.

Сняв вѣдра с коромысла, Катька славливала ладонью с воды белых мушек и сердилась.

— С анисом-то вкуснее, оставь, — подшучивал отец.

— Ты бы лучше стѣжку обкосил. Сил нет пробираться.

Василь Петрович проходил ручку, другую, сбивал разбушевавшуюся траву. Но от тёплых ли дождей, от нашей ли благодатной землицы она пѣрла, как на дрожжах.

...Пробившиеся сквозь разрывы облаков лучи заштопали прохуdivшиеся небо лишь в августе, через неделю после Ильина дня, когда лето пошло на убыль. Дожди прекратились. Прояснело. Грозовые облака похохатывали где-то за Богачевым урочищем. Небо, отяжелевшее от беспросветных туч, вдруг очистилось и взмыло на такую высоту, что жаворонки затерялись в его бездонности.

Солнце, соскучившись за густыми облаками, обрушило на хутор нескончаемые потоки тепла и ласки. Над Жѣлтым зависла шафрановая радуга. Один её конец опускался в Сидоров сад, второй, густо окрашенный, напитался рыжевато-коричневой болотной водой, упал в торфяниках на Ломинке.

Отец загорелся: “Теперь уж устоится. Долгожданный нынче сенокос. Завтра с утречка и начнѣм. Не сгниѣт сенцо, подсушим, подворошим”. И застучал, затюкал, отбивая под сараем косу. Вскорости и у Меркуловых послышалось: “Дон-дон-дон”, и у Стѣпных подхватили: “Дилинь-дон, дилинь-дон”.

Завидя, что мать готовится закатить постирушку, отец упредил: “Все дела в сторону, едем на сенокос, в Ярочкин. Делянку нынче там отвели”.

Раным-ранѣшенько, ещё и кочет не в полную силу голосил, а так, подкукарекивал только, отец запряг Буяна. Не заходя в дом, приоткрыл окно, окликнул Катьку. Мать заспешила с подойником из сарая. Плеснула через край в кошачью миску на крыльчке, направилась к телеге, накинув на плечи белокрайку и прихватив стоящую на лавке у крыльца корзинку.

Отец привязал вожжи к гороже, постучал кнутом в двери соседской хаты:

— Шур, пусти Лѣньку с нами, пусть пособит на косовице.

— Заглянь на сеновал, дрыхнет ещё без задних ног, — откликнулась, не отворяя, тётка Шура.

— Боец, подъём! — и отец забарабанил по перевернутому вверх дном корыту.

Катька сидела на телеге, свесив ноги меж лесинок. Рядом пристроилась мать с корзинкой. Из-под рушника торчали хвостики лука, пахло гусятиной. В узелке ещё теплились лепёшки со шкварками. Россыпью на дне плетушки белел недоспелый налив. Сбоку телеги болтался закопченный чайник — спутник всех сенокосов. Под траву уложили пару граблей, косы.

Заспанный Лёнька с сеной трухой в смоляных волосах уселся на задке. Длинные ноги почти коснулись земли. Он поёжился и стал натягивать впихнутый тёткой Шурой свитер. Отец прикрикнул на Буянку.

Дорога заметно подсохла. Лишь иногда в лощинах попадались лужи. Лёнька соскакивал, подталкивал телегу, упираясь жилистыми руками в лесенки, а потом на полном ходу ловко запрыгивал на своё место. Ехали молча, досыпали. Увязавшийся следом Дружок шпындрап по росе, стращивал мокрую пыльцу с кремовых свечей подорожника и залиристо лаял. На Глиняной дороге из овса премо перед мордой Буянки выпорхнула какая-то птичка. Замельтешила, заменила маленькими ножками, не уступая дорогу и подсмеиваясь: “Не догонишь! Не догонишь!”

Тонкий утренний холодок бодрил и мешал Катьке дремать. Лёнька пристроился к ней калачиком, прикрылся охашкой травы и тут же затих.

На верхушки Плоцкого березняка опустилось, задрожало на утреннем ветерке розовое пёрышко. Присмотревшись, Катька увидела чуть поодаль ещё одно, а потом ещё, и ещё. Казалось, какая-то розовокрылая птица, пролетая, обронила в перелесок, в курящийся Ближний лог подёрнутые перламутром перья. А через мгновенье явилась и сама. Распластала чудесные крылья, закрыла собою восток и полетела навстречу Буянке, навстречу улыбающемуся во сне Лёньке, навстречу замороженной рассветной красой Катьке.

Вот высветился Филькин овраг, очнулся Жёлтый, засверкал, зажурчал, убегая за Савин лог. Отступила в чащу Закамей ночная мгла, и ясное августовское утро засияло алмазами-изумрудами в зонтиках придорожной сныти, вспыхнуло рубинами в иван-чае, янтарём да редкими аметистами заиграло в иван-да-марье. Брызнули и потекли вдоль откосов кукушкины слёзки.

И вот уже слышно: вжикнула первая пчела, возвращаясь из разведки, а чуть позже замелькали, понеслись с хутора на гречишное поле, что пенится на Мершине, её товарки.

Косить по росе — самое время. Потому заторопился отец, встал во весь рост, закрутил над головой вожжами, засвистел. Буянка заметно прибавил, и косари въехали в Ярочкин лог.

...В стародавние времена, когда предки ещё не обустроили на Жёлтом хутор (а может, когда их и самих-то ещё не было), столкнулись два богатыря, упёрлись лбами, не уступая друг другу ни пяди земли. Заупрямились, замерли, да так и остались стоять в противоборстве на столетия. Лбы их — крутые горки — состарились, поросли мхом, травною-муравною, засеялись перелесками. А теперь шумит лес — стволы не обхватишь. Раскатился на километры, упираясь на юго-западе в Кромю-реку. Разросся дальше по горкам, развеивая осенью крупную манной семена на прилесные поля.

Буянка подустал... Долго колесить по лесу не прищлось: отец хорошо знал наделы. Выбрали местечко посветлее, поскидали грабли, косы, конька распрягли, стреножили.

Травица! Потеряться можно. Заколосилась, поспела, — самое сенокосное времечко. Дух в лесу крепкий, хмельной, на клеверах-донниках настоящий.

Присмотришься: и не видать ни колокольчиков, ни мятлика... одно лёгкое кисейное облако парит над поляной. И не различаешь уже: туман ли последний тает, дымка ли над чебрецом-душицей кружит. Елеем проливается аромат трав лесных на душу хуторянина.

Парят неожиданными снежинками зонтики сныти. Пробираешься в их расслях осторожно, словно боишься: оборвутся, спутаются тончайшие кружева.

Потянешь за паутинку-ниточку — распустишь невзначай, нарушится извечный порядок, не переснимется уже никогда старинный узор, утерается на века вечные.

За густыми зарослями орешника, где-то на дальних пригорках послышалось ржание. Чуткие уши Буянки тут же уловили радость в голосе отпущенной на волю кобылицы. Конь откликнулся, и разнеслось над лесом счастливое приветствие, его подхватили, затрещали сороки и растрезвонили на весь Ярочкин лог. Вот, мол, какое утро чудесное, празднуйте с нами пору сенокосную.

Жикнул брусочек. Отец налаживал литовку. Со всех концов леса послышалось: “Вжик! Вжик!” Это хutorяне подоспели, тоже к косьбе готовятся.

Лёшка между делом нарубил лапника, соорудил шалашик. В тень задвинули корзинку со снадью, жбан с квасом. Мать расстелила лоскутное одеяло.

Закатав повыше рукава клетчатой рубахи, отец пошёл первую ручку, за ним пристроился Лёнька. Ещё не так умело, но ладил, старался не отставать. Вжик-пережик — падает стена разнотравья, вжик-пережик — поют, переключаются литовки.

Всю свою недолгую восемнадцатилетнюю жизнь старался походить Лёнька на Василь Петровича, своего крёстного. За отца родного почитал.

Завербовалась Шурка, Лёнькина мать, когда-то, уехала на заработки. Всё, что привезла из краёв чужих, — черноглазого смуглого пацана. Сокрушался отец её, дед Зуб, мол, приبلудила мальчонку, позор на всю округу. Да и поднимать как? Нищета нищетой.

Всю жизнь мечтал Катькин отец о сыне, но Господь дал ему трёх девчонок. Привязался он к соседскому пацану: жалко, безотцовщина. Да и Лёнька потянулся к Василь Петровичу. Спозаранку пролазил через дырку в гараже на его двор и щенком бежал за соседом. То строгают-пилят вместе, то плетушки плетут, а то отправятся за гусьми на пруд. Заплывут вредины к неподступным болотистым берегам — и попробуй вымани на ночь. Выручал Лёнька. Плавал, будто рыба, с тех пор, как ходить начал. Да и вообще, на зависть деревенским бабам, Шурка не пичкала Лёньку микстурами. Ни соплей тебе, ни корей, ни кашлей-простуд. Раз только прихватило Лёньку крепко, лет в пять — и то по дури, от жадности. Забрался к Макеевым в сад — у бабки крыжовник крупнощипый — Лёнька и обтрескался, неделю штанов не носил, за двором сидел. Шурка сходила к Колдучихе, та без всяких наговоров посоветовала перво-наперво Лёньку выпороть, чтоб неповадно было, и корешков каких-то дала, велела с дубовой корой смешать и Лёньке отвар вскипятить. А так, ничего особенно болезного Лёнька за собой не припоминает.

Привязался он к соседскому семейству так, что тётка Шура даже ревновала.

— Мёдом тебе на ихнем дворе намазано, что ли? Прижился совсем.

Лёнька молчал, а после школы опять бежал к соседям и пропадал у них дотемна.

А тут ещё Катька: то задачку подскажи, то стенгазету нарисуй. Разница в возрасте небольшая, но он — старший, вот и присматривал повсюду за соседской малявкой.

Однажды собрались Катькины родители в клуб и тётка Шура с ними, фильм индийский смотреть, девчонке тогда года четыре было. Лёньку за няньку оставили. Рассказывал он ей сказки, смотрит: вроде спит, а глаз один всё равно приоткрыт, за ним наблюдает, не сбжал бы мальчишка...

Сейчас уж Катьке пятнадцать, а Лёньке осенью служить.

...Подвзавзав косынку, Катька шла следом за косцами, разбивала густые валки. Не первый год берёт отец её на сенокос. Уж и руки окрепли, не зажимают грабли, не напрягаются, не срывает она кровяные мозоли, как поначалу. Играют грабельки в девичьих руках. Посмотришь издали: не девчонка-малолетка, а девушка ладная.

Сняла по весне пальтецо, а и не Катька уж — Катерина. Расцвела, повзрослела за зиму. Хотел было Лёнька вечером на лавочке, как раньше, жука майского ей за шиворот кинуть, уж и руку занёс, да, взглянув на завитушки на шее, остановился и неожиданно для себя самого спросил:

— Катя! Не замёрзла? Холодает.

— Ты, что, Лёнь, духота какая! — рассмеялась Катька.

С той поры, куда бы она ни пошла, рядом возникал Лёнька, долговязый, чёрный, как смоль, глаза — вишни карие. И с кем его только Шурка приспала?

Слышно: где-то впереди отец подбадривал Лёньку:

— Не спи, боец, догоняй!

Парень приостановился, скинул рубашку, отшвырнул подальше. Поплевал на ладони, как заправский мужик, азартно рванул вперёд.

— Запалит Лёньку, — подумала Катька об отце.

К запаху свежескошенной травы примешивался аромат луговой клубники. Собрав насех пучок переспелых ягод, девчонка перевязала его стебельком овсяницы, кинула на приметное местечко и заторопилась вдогонку косарям.

— Обед! — послышался голос отца с конца делянки.

Она и сама порядком устала.

Мать возилась у шалаша, раскинув скатерть-самобранку. Первые малосольные огурчики, десятка два яиц, хлеб, нарезанный крупными ломтями, куски пахучей гусятины, домашний сыр.

— А что ж ты, забыла, что ли? — подсаживаясь к “столу”, покачал головой отец.

— Да прихватила, прихватила, — отвечала мать, вынимая завёрнутую в газетку пол-литру.

Готовил её хозяин сам, никому не доверяя, на не распущенных почках чёрной смородины. И рецепт свой держал в тайне. Считал каждую почку, и потому называл этот продукт “штучным товаром”. Употреблял только по праздникам, а сенокос в деревне истари самый весёлый, самый чистый, самый цветастый праздник.

Пообедав, отец забрался в шалаш вздремнуть.

— Лёнь, и ты отдохни, вон какой гай смахнуть до вечера придётся, — посоветовал он, и уже через минуту из шалаша донёсся мерный посвист.

Мать, пользуясь минуткой, поспешила в лес. В эту пору она всегда собирала ежевику, непременно с листьями. И сушила их потом в чулане. Рядом висели мешочки с липовым цветом, заготовленные в конце мая. За лето по пути с обеденной дойки набирала она пуки зверобоя, развешивала в том же чулане для просушки. Когда зацветала мята-мелисса, заполонившая задворки, мать обрывала самые цветочки, и опять — в чулан.

Зимой соседи ходили к ней на чай. Она брала по горсточке всех трав, заваривала в чайнике, добавляла топленое молоко, и долгими зимними вечерами соседки засиживались у неё на кухне.

...Солнце цеплялось за деревья. Над поляной змеилось марево. Неразбитые валки, как гребни волн, накатывали с пригорка. Море травы, непочатый край работы: и разбить, и поворошить.

Припекало. Лёнька подсел к Катьке, пристроившейся на поваленной берёзке. Набрав охапку пропахшего мёдом сергибуса, она очищала стебли от кожурки. Прозрачно-зеленоватые стружки падали к ногам.

— Может, искупнёмся?

По Лёнькиному смуглому телу стекали ручейки пота, а волосы ещё больше кучерявились. На прожженном солнцем лице сияла белозубая улыбка. Катька вспомнила, какая тёплая, парная бывает в эту пору вода, и ей захотелось окунуться, смыть жар с опалённых плеч. Нос облупился, лицо полыхало переспелым помидором.

...Они шли по заросшей дроком тропинке.

— Хочешь, во-он на той осинке имя твоё вырежу? — спросил вдруг Лёнька, показывая на высоченный остроконечный обрыв, прозванный хуторянами Иван-царевичем. На самом краю росло одно-единственное дерево.

— Хвастаешь, туда и взобраться-то никто не сможет.

Лёнька молча снял сандалеты, подкатал до колен штаны и, цепляясь за свисающие корни, полез по отвесному склону. Глина крошилась, осыпалась под ногами, но упрямец карабкался вверх. Большущий ком отвалился и по-

летел в ложбину, поросшую крушинником. Ленька сорвался, но успел схватиться за оголившийся корень.

— Лён, не надо, Лёничка, я пощупала. Я верю, ты долезешь, возвращайся!

Но его уже ничто не могло остановить.

Вот ухватился за ствол осинки, вот медленно пополз вверх. Остановившись на середине, вынул из кармана рубашки перочинный ножик. Крупными буквами вертикально по стволу вырезал: “Катя”. Потом сполз чуть ниже и добавил: “Я тебя люблю”. Убрал нож, схватил самый длинный корень, оттолкнулся от Иван-царевича и приземлился чуть поодаль девчонки.

— Дурак! — крикнула та, и не оглядываясь, побежала вниз, к озеру.

Только бы не взглядел счастья в девичьих глазах, только бы не услышал радостного стука сердца!

Ленька догнал её у воды.

Потянуло свежестью. Озеро напоминало блюдце из буфета в Каткиной горнице: края густо расписаны изумрудной ряской, купавы крупными куртинами желтели у берегов, болотник разбрызгал алые звёздочки среди острых листьев аира, рогоз многочисленными свечами украшал левый край озера. А в центре — водяные лилии, или, как их в народе называют, одолен-трава. Бело-розовыми чашечками стояли цветы на круглых буро-зелёных блюдцах.

Лён, не снимая штанов, нырнул с поросшей водорослями коряги и выплыл только на середине. Он что-то прокричал, но Катка не разобрала. Она вошла в воду, подоткнув сарафан, смочила косынку и покрыла голову. Умылась, сполоснула грудь и плечи; купаться не стала, заметив в камышах змейку-ужовку.

Стояла на песчаной отмели у берега. Вода была настолько прозрачна, что Катка до каждой песчинки-камушка видела дно. Меж ног стайками шныряли беззаботные мальки, щекотали икры. Пару раз объявлялись рыбы покрупнее, но, заподозрив чужака, отплывали и, сбившись в небольшие косяки, фланировали на глубине. Иногда рыбка всплёркивала, взлетала над водой, и Катка успевала разглядеть серебристую спинку. Рыбка исчезала, и по воде разбегались круги.

Водомерки, как залётные марсиане, расхаживали по недвижимой глади на своих длинных тончайших лапках.

Стрекозы носились парами над заводью. Они тарасили глазища и шуршали: “А ты зачем здесь?” Голубые мотыльки беззаботно роились у берега.

— Ка-тя! Кат! — донеслось с озера.

Лён плыл, держа в зубах водяные лилии. За ним тащились длинные стебли. Катка расхохоталась. Он был похож на щенка. Чёрный, лохматый Тяпка так же плавал за палочкой и приносил её в зубах.

Лён вышел, протянул кувшинки.

— Ты что смеёшься?

— А ты на Тяпку похож.

— И преданный такой же, — вспыхнул парень.

Одним движением подсек, подхватил её на руки и понёс в озеро.

— С ума сошёл, я же не плаваю.

— А ты держись за меня крепко-крепко, — шептал Лён, — не отпускаяй никогда рук.

И целовал.

Катка не услышала, как закуковала кукушка, не увидела, как мать, вышедшая с охоткой можжевельника к озеру, вдруг повернула и заспешила на покос.

Она смотрела в горящие глаза, чувствовала надёжные Лёнкины руки и понимала, что даже если расцепит свои, он никогда её не уронит.

# ТРИШКА

## РАССКАЗ

Давненько не виделись мы с тёткой Натальей. Под зимнего Николу дай, думаю, проведу старушку, с праздником поздравлю.

Погода, как назло, взбесилась. Снег в этом году выпал всего как с неделю. До середины декабря морозов не чуяли. А тут как засвирепело! Замело, закрутило! Но вчера с обеда поотпустило. Минус пятнадцать для русской души — самое то! Подделась поплотнее — и в дорогу.

Тётка моя который год живёт в опустевшей деревне. К дочери в город не съезжает. Не к чему, мол, теперь. Восемьдесят шесть прожила туточки и остальные, сколь Бог отпишет, доколтыхаю.

Вышла я, на остановке — ни души. До тётки пешком минут сорок. Только шаг наладила, слышу: лошадёнка в спину дышит. Сжалился, видать, Господь, подмогу послал. Зарылась поглубже в сено, и коняга потрусилась в сторону Кривой балки, на краю которой под кряжистым ясенем притулилась тёткина хатёнка.

Мужичок оказался болтливым. За двадцать минут успел обстоятельно прояснить обстановку в Больших Хомутах: света нет (линию в последнюю метель оборвало), и воды тоже нет (то ли башню разморозило, то ли мотор сгорел).

“Бедная моя, несчастная! — забеспокоилась я о тёткиной участи, — ключ под горой за версту”. Но, видать, человек наш настолько живучий и бывалый, что тётку Наталью не смогли подкосить такие мелкие неурядицы.

Распрощавшись с возницей, торопившимся за дровишками в Куманёв лесок, я постучалась в заиндевелое окошко знакомой кухоньки. Тётка будто поджидала гостей. Выскочила в сенцы, загремела щекоткой. Двери отворились, и она, всплеснув руками и заохав, кинулась ко мне. Время за пять лет ничуть её не изменило. На моё: “Теть Наташ! Да ты молодцом!” — старушка хихикнула, а что, мол, с сухофруктом подеется?

Не успела я осмотреться, за окошком начало смеркаться. От жарких ли всполохов печки, от лампадки ли, закоптившей угол горницы, а может, от лампы-керосинки по хате расточались уют и тепло. Вспомнилось детство на хуторе, бабушкина низенькая хатёнка, допотопная липовая прялка и сушилка с мотками крашеной овечьей шерсти.

Радостная тётка хлопотала у стола, собирала вечерить. Откуда-то взялась бутылочка кагора. “Для сугреву. От Пасхи берегла, свяченная”. Старушка шмыгнула в кладовку, вернулась со шматком морозового сала. Вынула из печи горшок с томлёными щами.

Я спохватилась, принялась выкладывать подарки. Довольная тётка с удовольствием их рассматривала и нахваливала. Очень ей по душе пришёлся шерстяной подшолок в мелкий розанчик. “Знатный платок-то!” — не удержалась она. Что означало её наивысшую благодарность.

Чай пили с какими-то раздушистыми травами, с козым молоком и гордскими бубликами. Я помнила, что нет для тётки лучше лакомства, чем баранки или бублики с кунжутом, и прихватила целую связку. “Мои любимые, с вениками!” — заметила старушка. Зёрна кунжута она принимала за семена веников и обожала ими баловаться.

— Ну, всего нынчи не перетрёшь. Умаялась, небось, с дороги. Ложиська, вздремни. Завтри повспоминаем. Постелю я тебе разобрала, а сама — на печку. Куды мне от ей!

Не успела улечься, слышу: “Треш-треш, скхрррн-скхрррн!” Живя в городе, совсем позабыла, что в деревенских деревянных домах любят селиться сверчки.

— Поздоровкайся, это — Тришка. У меня всего-то и осталось в хозяйстве: на дворе — коза Милка да в дому — сверчок Тришка. Только я на печь — он за песни. Убаюкивает, балакает со мной, чтоб теmeni да выюги

не пужалась... Летом-то он на улицу сбегает, а к холодам — опять в тепло норовит. Делит со мной печку.

Я вспомнила старую песенку о том, как у дедушки за печкою жила-была компания, и улыбнулась.

— Мне, милая, от его теперя никуда. Голос Тришин из сотни других распознаю, — продолжала старушка.

— А самого-то видала?

— Как жа! Объявлялся! Ма-а-хонький такой, кузнечик кузнечиком, — тётка завозилась на печи, видать, раздумала спать, поскольку речь зашла о её любимой животинке. — Сверчок — он ведь всегда у нас в деревне в почёте был. Что за хата без его? Помочник, подсказчик семейной. Ишо бабка моя говаривала: “Коли сверчок хату покинет или из-под печи на серёдку высигнет, быть худу вскорости”.

— Тётъ Наташ! В приметы, что ль, веришь?

— Как же, милая, не верить? Поверишь, коли петух жареный клонет... Вот ведь в том годе, как пожару случись, сижу я, картохи чищу. В хате тишина. А он — прыг-скок из печурки и прямо передо мной замельтешил. А в ночь амбар занялся. Полыма на хату перекинулось. Как отстояли (ветер был жуткий), ума не приложу... Как не поверить?..

— Простое совпадение, — ввожу в сомнение старушку.

Но её голыми руками не возьмёшь. Ни за что не позволит в сверчке своём разувериться.

— Какое там совпадение! — доносится с печи. — А как такое дело понимать, растолкуй ты мне, будь добра. Пишет мой Миколай с фронту, скачаю, мол, шибко... хата всё снится... сверчок свиристит... А через неделю, следом за его письмом, похоронку получила. Не веришь — заглянь на Божничку... Там они... треугольнички-то... Только главного я тебе покамест не сказала. Как получить то письмо злосчастное, лежу я на печи, согреться не могу, пришла с окопов (фронт подкатился по той поре аккурат под нас), лежу, значит... руки поверх одеяла... Ещё и не спала вовсе, чую: прыг сверчок прямо на ладонь... и криком кричит. Сердце оборвалось. Смекнула сразу: дети при мне, посапывают, значить, с Миколой беда. Так и случилось. Под Сталинградом могилка-то его, ты же знаешь, — тётка вздохнула и при молкла.

А сверчок трещал и трещал. Монотонно, словно кукушка в лесу. Передохнул секундочку и опять за своё.

Показалось, что старушка уснула. Но, видать, разбередила я её своим приездом.

— Вот... ты как полагаешь, чем он, шельмец, поёт? — послышалось вдруг с печи, — не догадаешься ни за что! — и сама тут же ответила: — Потирает проказник подкрылками по задним лапкам. А они у него в рубчик. Так и трькает Триша мой об них ночь напролёт. Я за ним, как за каменной стеной... Коли усну — он начеку... Ничего со мной до срока не поделется!

— Любишь ты, тётушка, своего постояльца!

— Люблю, как не любить. Только какой же он постоялец? Он — самый что ни на есть хозяин, домовик!.. Лексевна, соседка моя бывшая, отродясь скрыпу ихнего не переносила. Словила-умудрилась одного да прихлопнула. А на другой день — из самой дух вон.

— Сомневаюсь я. Сказки всё это.

— Какие тебе сказки-байки, коли душечка наша, как заснёшь, принимает его обличие... Как же изничтожить?.. Все у нас на хуторе знают, акромя тебя... А потом... знаешь, от чего у Шульженки голос такой? С утраца натошак настой из сверчков принимала. По две капли на ложку козьего молока. Только непременно от рябой однорогой козы.

— Ну! Это уж точно басни! Чепуха какая-то! — возмутилась я

— Ничуть не чепуха! — обиделась тётка Наталья. — Ты послушай-ка завтра пластинку: поскрыпывает голосок-то у певуны.

— А чем же ты своего артиста кормишь, не яйцами ли всмятку?

— Дык чем, чем, — ласково заворчала старушка, — знамо чем — отрубями. Их за печуркой цельный мешок. От шашала прожариваются. Домо-

вик там и столуется-подъедается сколь надо. А летом — на вольные хлеба уходит, на зелень.

Наконец, неумолчный сверчок убаюкал тётушку, а я всё ещё бормотала пришедшие из далёкого детства стихи Барто:

*То близко сверчок,  
То далёко сверчок,  
То вдруг застрекочет,  
То снова молчок.*

Тришка солировал до рассвета. И всё одним-единственным номером. Постепенно я привыкла к его стрекоту. Это однообразие не раздражало, не надоедало и не утомляло.

Вспомнилось: когда-то и в нашей хате жил свой хранитель домашнего уюта. Да и у соседей по вечерам тоже пиликали сверчки. Ночи напролёт устраивали они сольные концерты, а к утру хаты выстывали, и они смолкали, напоминая хозяйкам, что пора топить печи. А ещё жил сверчок под полком нашей бани. Похлёстываешь, бывало, веничком берёзовым в лад сверчковой песенке “рразз-рразз”. Жил-поживал сверчок в тёплой баньке и в усы свои длиннющие не дул. Холод не докучает, еды хоть отбавляй — веников в предбаннике тьма. А что ещё для счастья сверчиного нужно?

Размеренное “ккри-ккри” так меня убаюкало, что очнулась я, когда утро уже гляделось ясным морозным солнышком сквозь расшитые цыплятами занавески. Тётка Наталья потопала в сенцах валенками и вошла в горницу. Следом в промёрзлую дверь вкатились клубы молочного пара.

— Проснулась, голубка моя, ну, поднимайси. Милку подоила, утречать станем. Драников настряпала. Стынут.

За завтраком опять затолковали о ночном музыканте.

— Да я, поди, уж и всё про него выложила. Заинтересовалась? Ну, коли ещё чего прознать желаешь, дак поди к Лукьяну на хутор Степной. Деда этого по имени не кличут, всё Сверчок да Сверчок. Сказывают, помешался он на этих букашках.

Интересно, как может деревенский дед на сверчках тронуться? Не откладывая в долгий ящик, чтобы оборотиться дотемна, откопала в чулане старые лыжи, выдернула из горожи пару орешин и покатила на Степь.

Сколько лет минуло с тех пор, как в детстве ползала по этим пригоркам на салазках и лыжах с деревенской ребятнёй!

Местность наша холмистая. С горочки — на бугорок, то стрелой вниз, то ёлочкой вверх. Мороза не чуяла, даже в жар кинуло. Взятые напрокат тёткины валенки посеребрились, воротник шубника от морозного дыхания заиндевел. Декабрьский полдень играл на снегу дробными алмазами. Встречавшиеся на пути ракитки разукрасились игольчатым инеем.

Не успела притомиться, уж дымком потянуло, а там — и хутор на ладони.

Тётка Наталья в точности описала Лукьянову хату, и я, скатившись в низинку, притормозила у распахнутой калитки.

Залаял कुдлатый пёс, и навстречу в телогрейке, ватных штанах и в валенках с подвёрнутым верхом и подшитыми задниками вышел сам Сверчок.

Дед этот иначе никак не мог называться. Кличка здорово ему подходила. Росточком низенький, гномистый, глазки маленькие, шныркие. Походка прискакивающая. А самое главное: длинные тонкие усики. Ну сверчок да и только.

Дед потёр руками, словно лапками, и засвиристел сквозь пару оставшихся зубьев:

— Кого это к нам принесло? Не прозябла ли с дороги? Не останешься ли переночевать? Не растопить ли пожарче печку?

Дед трещал, а я не успевала отвечать. Да ему, как видно, это было и не нужно.



Обив корявым берёзовым веником льдинки с тёткиных катанок, прошмыгнула в тепло.

Скромное убранство хаты подсказывало, что Сверчок или век прожил бобылём, или давным-давно овдовел. На длинном несобленном столе громоздился самовар. Дед чаёвничал в одиночку и очень обрадовался неожиданной госте. Снова раздул угольный самовар, доложил в него сухих вишнёвых веточек. Налил мне в чашку, а себе в блюдце и, указав на место поближе к печке, приготовился слушать. Сразу было видно, что это его любимое занятие.

— Говорят, дедунь, ты со сверчком дружен? — не стала ходить вокруг да около.

— Это ктой-то говорит? — насторожился дед.

Смекнула: надо поменять тактику. И, будто не слышала вопрос, решила польстить старику.

— Знаток, говорят, Лукьяныч большой и ценитель их пения.

Дед одобрительно крякнул и сверкнул хитренькими глазками.

— А пошто они тебе сдались, сверчки-то?

— Я, дедунь, о всяких увлечениях пишу. “Хобби” называются они по-научному. А у тебя очень уж необычное.

— Ну... коли так, расскажу, что знаю, и ребяток моих покажу... Чего ж не показать-то?.. А ты пропиши об них. Пушай... может, кто ишо заинтересуется.

Я достала блокнот, дед степенно допил чай, утёр усы, расправил их, как подобает Сверчку, полез в печурку. Достал и бережно поставил на стол собранный из спичек многоэтажный дворец, состоящий из комнаток-коробочек. Выдвинул одну из них. Смотрю: в уголке бурый, миллиметров двадцати сверчок. Дед полюбовался и задвинул комнатку на место.

— Ну, взглянула? Их у меня двадцать пять головок. Об чём разговор будем вести?

— А что же, бабушка, жильцы этого чудо-домика молчат?

— Дак день же. Спят мои родные.

— Как же так случилось, что ты не охотой занялся, не рыбалкой, а сверчками?

— А куды деваться-то? Этим делом, милая, весь род наш увлекался... С деда мово пошло. Как ушёл он на японскую, так и заболел сверчками. В плену два года провёл, выучился с ими обходиться.

— А что же, сверчкам какой-то особый уход требуется?

— Ды какой там уход! Едят всё, что мы любим. Главное для сверчка — тепло. Чуть ниже + 25, а ему уж не по себе. И петь перестает. А песня — главная его заслуга, дело жизни, прямо скажу. Ить его можно вовсе никогда не видеть, но не знать о его присутствии невозможно. Кажный вечер трели выдаёт. И не смолкает до утра.

— И чего им в тышине за печкой не сидится? С чего петь-то?

— А пошто квачут лягушки? Пошто соловей запузывает?.. Вот... то-то и оно... И сверчки за тем же поют: самок подманивают, а самцов гонят прочь.

— Не каждый выдержит его сверчение, ведь если он заведётся, то слышен в самых потаённых уголках дома.

— Поначалу, может, и необычно, но попривыкнешь, и не станет для тебя нежней и приятней песни, чем сверчинная.

— Со вчерашней ночи стоит в ушах его стрекот.

— Не стрекот, а музыка, — поправил старик, — бывало, посадит дед на колени и растолковывает мне, несмышлёному, про сверчинные напевы. Дед мой много чего про них у японцев прознал. В Японии энтой трели ихние ох как ценятся! Соревнования меж ими устраивают. Кто, мол, складнее выдаст. Это у нас сверчок копейки не стоит, а там животинка эта важная. Большие деньги на них делают... Мы всё щеглов да канареек в домах содержим, а японцы — сверчков.

— Да... точно! Кажется, где-то читала, и в Китае их тоже почитают. Да же на Новый год дарят, мол, счастье в дом стрекотаньем зазывают.

— Старики в Японии считают, что пение этих насекомых дарит им дол-

голетие и покой. И поэты, и музыканты, и художники, даже тибетские ламы занимаются разведением и воспитанием сверчков. Нет на Земле места, где бы не уважали сверчков. Дед говаривал, императоры японские заказывали для своих любимцев золотые клеточки. И во дворцах, и в хижинах слушают японцы ихние трели... Сверчок — вещь полезная. У нас привыкли — мамки, няньки, а япошки поставят рядом с младенцем коробочку со сверчком, и тот без умолку колыбельные распевает.

— Жаль, не знала раньше. Дети выросли. Внуки появятся — обязательно попробую так убаюкивать.

— В старину сверчка-то на Руси циркуном кликали. И говаривали о нём с уважением. Считалось: сверчок поёт — Бога хвалит... А что же это мы про чай забыли? Совсем простыл, — дед хрустнул кусочком сахара, прихлебнул с тарелочки и, показалось, на минутку задумался, о чём бы ещё рассказать. Но тут же встрепенулся и продолжил:

— Не поверишь, но для сверчков есть особые базары.

— Представляю, какой там стрекот стоит, — улыбнулась я.

— Чёрный сверчок стоит намного дороже, чем бледный, серенький, — пояснил дед Лукьян и подлил чайку, — ну, это всё в Японии, а мы сверчка привыкли слушать зимой — за печкой, летом — в лугах. Хоть и поют они летом слаженным хором, но любят одиночество, потому и драчуны-забияки отменные. Мы с Петром, братом моим, цельные бои устраиваем.

— Надо же, сверчковые бои! — так и ахнула я.

— Что, любопытно? Ну, коли заночуешь, может, и удастся увидеть оканю, — пообещал Сверчок, — только за Петром добегу.

Уехать и не посмотреть на такую диковинку я, конечно, не смогла. Захлопотала с ужином, а Сверчок отправился на другой конец хутора за младшим братом.

Оказывается, в детстве играли они в сверчиные бои, как мальчишки в футбол. Так и не смогли остановиться, увлеклись на всю жизнь. Полхутора собирается порой взглянуть на необычное зрелище.

Пётр, конечно, не отказался похвастаться своим воспитанником, и через двадцать минут деды затопали у порога. Брат Лукьяна как две капли воды на него похож: те же шустрые бусинки-глазёнки, те же потирающие друг друга ручки-лапки, и только усы отличались от Лукьяновых — куда длиннее. “Ещё один Сверчок!” — невольно подумала я.

Наскоро поужинав, освободили стол от посуды, и дед Лукьян принёс слаженный для таких случаев крошечный ринг. Посередине — сетка, чтобы бойцы до поры не набросились друг на друга.

Деды высадили из коробочек сверчков и дали им освоиться. Заприметив друг друга, соперники принялись готовиться к бою: передними лапками растёрли щеки и глаза (так же, как умывается кошка — склоняя головку то на один бок, то на другой), челюстями помассажировали лапки-ножки, ртом начистили до блеска шпаги-усики. Братья раззадоривали своих питомцев — шевелили соломинками усики и почёсывали брюшка.

— Пора! — старший Сверчок кивнул младшему, и тот убрал разделительную сетку.

Сверчки тут же бросились в атаку. Таким бойцовским качествам позавидовал бы любой боксёр. В ход шли и лапки, и крылья, и челюсти. Всеми силами драчуны старались опрокинуть соперника на спину или вообще вытурить подальше с поля боя.

Глаза у дедов горели, они кружили вокруг стола и внимательно следили за исходом боя. Но помалкивали, лишь изредка вскрикивали или громко вздыхали. Видно, уговор у них такой — не вмешиваться.

Наконец, Лукьянов ученик ухищрился завалить Петрова подопечного на бок и лапками, словно какой валик, перекатил на спину. Победитель оглушительно просверчел и отскочил в сторону.

— Надо же! Какое благородство! — подивилась я.

— Закон природы — лежачего не бьют, — пояснил Лукьян.

Деды только в азарт вошли, а бой уж закончился.

— Надо бы отыграться, — предложил Пётр.

— Ну что же, можно и ишо разок.

Пётр подкинул сверчка, тот взмахнул крыльшками и приземлился на табуретку. Тогда младший Сверчок подсутился ещё раз и, ловко изловив своего бойца, подкинул его снова.

— Чтoб злости поднакопил, — растолковал Лукьян.

И вновь соперники сошлись в поединке. Чувствовалось, что сверчок деда Петра уже подустал, а может, и впрямь был слабее. Взяв верх в прошлой схватке, Лукьянов самец ощутил вкус победы и, расхрабрившись, так больно укусил противника, что тот упал на спину и отчаянно заперебирал лапками, дав понять, что сдаётся окончательно.

— Перекормил ты его, братец. Увалень, а не боец, — поддел Петра Лукьян, — говорил же тебе: отруби отрубями, но и яблочка подкинуть не забывай. Для разгрузки.

Я удивилась, заслышав разговор о рационе и питании. Словно передо мной не деды, а тренеры серьёзных спортсменов. Для братьев же разговор этот — обычное дело.

— Молодой он ишо, — сопротивлялся Пётр, — погоди, через месячишко войдёт в силу, задаст твоему бугаю трёпку!

Ночью победитель ликовал и выдавал такие трели, что к утру я стала находить в них сходство с соловьиными руладами.

По зорьке, распрощавшись со Сверчком, двинулась в обратный путь. Тётка Наталья теперь все глаза проглядела. Как пить, задаст за то, что осталась у Лукьяна на ночевку.

Выехала за бакшу, слышу: дед кричит мне что-то вослед. Возвращаюсь, смотрю: вынимает из овчинной рукавицы коробочку.

— Подарок от меня. Пусть у тебя дома поёт, о нас напоминает.

Поблагодарила я старика. Запихнула коробочек в варежку, а её — за пазуху, чтобы певец не застудился. И — скорее к тётке.

Выговорила она мне, конечно. Не без этого. Но, заглянув в коробочку, смягчилась, оттаяла. Сверчка я назвала, как и тёткиного, — Тришка. Очень уж понравилась кличка. Вот уже месяц, как он живёт в моём доме. Трещит-сверчит без умолку! Чтобы не замолчал, кормлю его, по совету Лукьяна, досьта. Говорят, голодные сверчки не поют. Слежу за рационом.

Пронырливый оказался Тришка. Как-то ночью включаю свет, смотрю: он у Барсиковой миски. С тех пор подкладываю ему под батарею (он её сразу облюбовал) “Вискас”, пусть лакомится. А уж он в благодарность сверчит-заливается!